

**Виктор  
КОНЯЕВ**

## **ЛЕНА И ЮЛЕНЬКА**

(Отрывок из повести  
«Непогасимая лучинка»)



Весна этого года получалась какая-то полосатая – то с самого марта бывали денёчки с почти летним солнышком, а то завет в вдруг пурга февральскую позёмку по обледенелым дорогам. Сейчас апрель увалился изрядно за середку, но сегодняшней день попал в полосу ненастья, вот и ущипывает холоднющий ветерок лица и руки прохожих, рано освободившиеся от спасительных варежек.

Но и в эту неуютную погоду у идущего с работы Егора Пахомовича Клётова есть повод быть в приподнятом настроении. Сегодня пятница, завтра ему не надо вскакивать в половине шестого, а можно поваляться вдосталь в утренней сладкой дрёме, потом неспешно встать, попить кофейку с сигаретой и целый день заниматься ничегонеделаньем, конечно, если не считать за дела мелкие хозяйственные хлопоты, чтение исторических трудов и послеобеденный сон минут на... да с часок. А в воскресенье – Пасха, закончится очень длинный Великий Пост.

Недалече уж до дому, до тепла, да вспомнил вовремя, а то б пришлось возвратиться по такой холодрыге. Часы у него на кухне «батарейные», вот батарейка как раз и сдохла, а он утрами привык на них глядеть. Старая лежала у него в кармане вместе с ключами, он и шарил по карману в поисках неё, поднимаясь по ступеням широкого обложенного плиткой крыльца, дальше были пластиковые двери, за которыми открывался мир павильонов со всякой всячиной, нужной и ненужной, ну это смотря кому. Но сначала за первой дверью посетителя встречал

просторный тамбур, в нём исщипанное холодом лицо опахивал тёплый воздух. Обычно Пахомыч по сторонам не глазел, он был в свои думки погружён. Может, тёплый воздух заставил его замедлить ход, может, что другое, но ход он замедлил. И бросил взгляд направо, а там, у стеклянной стены, за которой на полках много красочного ширпотреба: подарочные ножички и зажигалки, фонарики и прочее китайское барахло, стояла девчонка.

Она держала у самого рта ручки, сложенные почти как у мусульман во время молитвы, держала у открытого полногубого рта свои худые покрасневшие ручки и дышала на них. Она, вероятнее всего, недавно вошла сюда, пальцы не успели ещё отогреться, ещё болели. Отзвук той боли запечатлелся на полудетском лице. Капюшон куртки она откинула уже назад, из-за плеча была видна опушка, грязно-белая и с такими продергами в мехе, какие бывают у задиристого кота после серьёзной потасовки с «приятелями» на почве ревности. Недлинные густо-рыжие пряди окаймляли удлинённое худенькое лицо с богатой россыпью конопущек.

Он бы прошёл мимо, подчерствело и его сердце в хапужной атмосфере последних лет, хотя успел заметить заношенные фетровые бурки, явно не способные защитить девчоночьи ножки от серьёзного холода, и даже на вид тонюсенькие колготки, только имитирующие защиту. Прошёл бы – не хватит жалости на всех, но девчонка подняла на него глаза. Взгляд!

Тряхануло сердце саднящей болью. Он когда-то видел такой! Такой взгляд буравил дыру в его сердце! Но где, когда, у кого был такой взгляд?!? Этот взгляд, оказывается, жил в нём и саднил, просто он притерпелся, сжился и не замечал его, вроде даже забыл.

В тамбуре хорошее освещение, и он отчётливо видел серые, с изумрудинкой глаза, ну в точь, как те, но чьи, где, когда? И взгляд! С вызовом, но лишь внешним, а под ним недетская душевная боль, тихо плачущая в недоумённых детских очах.

– Дед, ты нашарь там мне десяточку.

Это к нему? Он растерялся:

– А?

– Ты глухой, што ли? Десятку, говорю, нашарь в кармане, не пожалей.

А он пришиблен окатившей его чужой душевной болью и говорит невпопад.

– Тебя как звать?

– Тебе зачем? Может, тебе за десятку всю жизнь свою рассказать?

– Ну, а всё же?

– Дед, иди-ка ты, куда шёл.

И взгляд убрала, потеряла к нему интерес. Но он не мог уйти, саднина не позволяла.

– Слушай, пойдём ко мне домой, я тебя накормлю домашними пельменями.

Взгляд вернулся, с разыгравшейся изумрудинкой, скрытого плача не углядывалось.

– Дед, без булды? Домашними пельменями?

– Ну што за словечки такие? Сказал же, домашними.

Шибко, видать, оголодала, коль пошла с незнакомым мужиком к нему домой, даже не спросила, с кем он живёт в квартире. Правда, некоторую опаску она высказала, но скорее шутливо-иронично, когда вышли на крыльцо.

– Дед, а ты не обманешь, вдруг ты педофил и вот так, обещаниями, заманиваешь свои жертвы?

– Болтаешь чё попало, лучше накинь капюшон и на вот мои перчатки надень.

Взглянула удивлённо и с интересом, перчатки взяла. На крыльце ветер сразу доказал его правоту сильным порывом, колючие мелкие снежинки стеганули по лицам.

Не разговоришься при таком ветре, она успела только сказать, что зовут её Леной, приехала она сюда к двоюродной сестре, но там никого дома не застала, а приехала она из посёлка Знаменка. Бывал там несколько раз Пахомыч, давно, правда, красивый тогда был посёлок, в нём в

те годы существовало какое-то небольшое производство, то ли теплицы заводские, то ли ещё что. Стояло несколько пятиэтажек и пара рядов одноэтажных двухподъездных домов, называемых почему-то коттеджами. Сейчас, скорее всего, посёлок захирел и люди в нём выживают как могут.

В лифте она сняла большие ей перчатки, сунула их в свой карман и снова, как там, в тамбуре, дышала на ладошки, сложены они были опять ритуально.

– Высоко живёшь?

– Не очень, на четвёртом.

– Это хорошо, что невысоко.

– Почему?

– Да просто.

– Ну-ну.

В квартире Пахомыча было тепло и тихо.

Если у Лены и была опаска, то она почему-то моментально исчезла в квартире. Пахомыч включил потолочный светильник.

– Разувайся.

Она тотчас скинула свои старомодные бурки, быстренько расстегнула куртку, выпросталась из неё, бросила на пол и уверенно пошла на кухню. Когда Пахомыч, разувшись и раздевшись, повесил в темнушку свою куртку, заодно и её, поднятую им с пола, и зашёл в кухню, зажёгши свет, Лена сидела на корточках у стены под окном и, вытянув руки, держала ладони на горячем простенке.

– О, хорошо! Замерзла я, дедуля, как комнатная собачонка, которую выкинули на мороз.

И в словах – душевная боль, слабо спрятанная.

– Не диво в такой-то одежонке. Кстати, меня Егором Пахомычем зовут, а на работе просто Пахомычем.

– Пахомыч, а ты один, што ли, живёшь? Где жена и дети?

– Жена померла около года назад, а дети взрослые, живут самостоятельно.

– И ты совсем-совсем один?!

– Выходит, так.

– Бедненький Пахомыч.

– Не причитай. Давай-ка кофеем горячим погреешься.

Он включил электрический чайник.

– С молоком и лимоном любишь?

– А не знаю, я только в пакетиках пила.

– Я тебя щас напою хорошим, а пока поставлю пельмени. Садись на стул, неча, как та собачонка, к тёплой стенке жаться.

Он расторопно всё делал – достал из посудного шкафа кастрюлю, наполнил её на четверть водой, поставил на печку, включил конфорку и вытащил из морозилки тарелку с закаменевшими пельменями.

Потом они пили кофе, к нему Пахомыч поставил на стол вазочку с шоколадными конфетами, придвинул к ней. Кофе он ей приготовил, как любил сам, очень сладкий, с долькой лимона и молоком.

Она сидела на его любимом месте, в углу, а он устроился поодаль, ближе к другому торцу стола, смотрел, как она вытягивала трубочкой взывавшие маковым цветом от тепла губки и осторожно отхлёбывала из фаянсового бокала горячий кофе.

– Вкусно?

– Угу.

– Я закурю, с твоего позволения?

Она прижгла, видать, губы, потрясла головой.

– Да кури, я и сама малость пробовала, да не понравилось, бросила.

– Ну и молодец, што бросила.

Пахомыч закурил, запивая сигаретный дым горячим напитком.

– А можно конфету съесть?

– Конечно можно, только стоит ли перед пельменями сладкого наедаться?

– Да я маленько, давно не ела шоколадных конфет.

– Ешь на здоровье.

По тому, как она быстро уплела конфетку, можно было безошибочно определить, что она не столько хотела сладкого, сколько была просто-напросто голодна.

Тут и водичка в кастрюле забила ключом, заподпрыгивала крышка, пытаясь соскочить, скоро сварились пельмени. Пахомыч хотел и пельмени ей подать в таком виде, в каком любил сам, то есть с маслом и перцем, уж было стал накладывать, но она вскинулась: «Ой, мне с бульоном, если можно, и с хлебом».

Уже когда собрался нарезать хлеб, тогда и спохватился.

– Это што ж мы с грязными руками за стол садимся? А ну марш в ванную мыть руки.

Себе Пахомыч наложил в тарелочку морской капусты, крошил туда лук и необильно полил постным маслом. Ленка оторвалась от пельменей.

– А ты чё сам-то не лопаешь пельмени? Зачем тогда лепил?

– Мне пока нельзя, пост идёт, я в воскресенье налопаюсь.

– А-а-а, ты боговерующий?!

– Да, я верующий.

Она съела весьма немало, он подкладывал ей и подливал бульона.

Наконец она отклонилась от пустой тарелки.

– Объялась прямо, вкусотища-а-а, спасибо, дед, ой, прости, Пахомыч.

– Да на здоровье.

– Я б щас увалилась спать, я ж с самого с ранья колгочусь.

Резануло слух Пахомыча её вульгарное выражение, близкое к бранному, он невольно поморщился, не любил, когда женщины, а тем более юные особы так выражают свои эмоции. Но не стал заострять внимание на этом, другая проблема, несравнимо весомее, вдруг возникла. А что дальше делать?

Он сразу как-то не подумал об этом, подразумевая, видимо, что она поест и отбудет восвояси, исчезнет из его жизни так же неожиданно, как и появилась. Он внутренне, оказывается, боялся этого, боялся отсечь вдруг свившуюся меж ними нить, но и боялся себе в этом признаться. А она озвучила желание поспать, надо понимать, до утра, на дворе-то уже вечер.

– А ты, вообще-то, собиралась сегодня домой возвращаться?

– Сёдня не собиралась, думала у Райки заночевать.

– Так, а теперь?

«А голосишко дрогнуло».

Она расположила лицо между сложенными в кулачки ладонями. Оперлась локтями о стол, коротковатые рукава вылинявшего платица задралась, обнажив худые руки с косо-длинной подсохшей царапиной на одной.

– А давай я у тебя заночую.

Она смотрела с такой детской жалобностью, которая только и способна растопить человеческое бесчувствие, изумрудинки зрачков излучали тревогу от возможности отказа.

И, не давая ему возразить или сразу не согласиться, напористо продолжила.

– У меня и денег нет на проезд.

Он что, зверюга какой-то бессердечный разве – выгонять девчонку в ночь, в холод, в никуда? Просто всё получилось неожиданно. Но надо решать, и было чувство, что предстоящее решение окажется очень важным. Её взгляд молил и жалобил, возросшая к немалым годам чув-

ствительность, если не сказать сентиментальность, тоже влияет на поступки немолодых людей.

– Рази я против, ночуй.

Если бы она просто заорала «Ур-р-а-а!», это было бы ладно, так нет, она чуть стул не грохнула на пол, когда подсакивала с него, а потом кинулась к Пахомычу и, подымаясь на цыпочки, из-за невысокого росточка, обчмокала седую щетину на скуле.

– Ну будя, будя, егоза.

Ах эта чрезмерная чувствительность так и норовит давануть слезу, это ни к чему, надо её перешибить чем-то.

– Ты это, иди-ка в ванну, ополоснись, а потом уж и спать завалишься. Пойдём, я тебе покажу, где што.

В ванной комнате Пахомыч показал ей чистое полотенце, спинопёрку, как он называл молчалку, потом принёс ей из темнушки старые шлепанцы дочери.

– Ну, всё, грейся, мойся, а я пока приготовлю тебе постель.

Ленка вдруг почему-то угнула голову вниз, так что видна стала её макушка, она стояла спиной к ванне, опираясь бёдрами о край, вид был виновато-просительный. И голос соответственный.

– Пахомыч, у тебя какой-нибудь, ну, ночнушки, што ли, женской не найдётся?

Трудно давались эти слова девчонке, оттого и головёнку приклонила.

– Я хотела нижнее простирнуть, а надеть тогда мне нечего.

Егор Пахомыч почти жизнь прожил, да и ой какую несладкую, с блюд дорогих не едал, из кубков серебряных не пивал, а вот дерьма всякого наглотался невпродых, и научила его житуха такая относиться с состраданием к нужде людской. Всё он увидел: и дырки в колготках её повыше пяток, и платице маломерное заношенное, понял уже, что девчонка не просто так сорвалась из дому, а по причине, ему неведомой, но для неё очень весомой.

Несладно, по всему видать, живётся девчонке в семье, непорядок там. Потрепал макушку склонённой головы, волосы жёстко зашуршали под рукой.

– Какой разговор, щас чё-нибудь отыщем. Ты пока включи воду, пусть ванна нагреется.

Он не все вещи жены раздал, кое-что осталось на память, до чего-то просто руки не дошли. Нашлась для Ленки ночнушка, почти не оде-

ванная, красивая, цветастая и не какая-нибудь синтетическая, а трикотажная. Конечно, одёжка его дебелий к старости супруги будет на худой девчонке как на пугале огородном, но другого-то нет, придётся ей потерпеть. Она стояла так же, вода тугой струей наполняла ванну.

– Вот, чистая, почти новая, не побрезгуй.

– Спасибо, ты иди.

И вдруг словно кто-то из баллончика обрызгал ей щёки тёмно-красной краской – так быстро тугой пунцовостью они налились; россыпи светло-коричневых веснушек от носа по скулам побурели на густой красноте.

– Тут на двери нет защёлки... – замолчала, не смея продолжить.

Пахомычу стало смешно вначале от её глупых подозрений и страхов, он коротко хмыкнул:

– Ха, ну ты даёшь.

Но, видя, что перезрело-вишнёвый пожар не понимается, добавил серьёзно.

– Нам с женой было незачем друг от друга запираяться, ну а ты не бойся, я подглядывать не стану, смолоду не приучен к таким паскудным делам, так что мойся-грейся спокойно, я пока тебе постель сооружу.

После смерти Марии Пахомыч никаких перестановок в квартире не делал. В зале стоял роскошный диван, жена покупала для себя, она любила на нём отдыхать, здесь же и спала, рядом такое же массивное кресло. Сам Пахомыч в основном обретался в другой комнате, поменьше, там его мир: письменный стол с лампой, диванчик для отдыха и сна, комод с телевизором на нём и главное его богатство – книги, стеллажи с ними во всю длину торцевой стены под самый потолок, закрытые раздвижными дверцами.

Из шкафа-купе в коридоре достал простыню и мягкой шерсти дымчатого цвета одеяло, подушечка всегда лежала на диване.

Приготовив постель, Пахомыч пошёл на кухню покурить и разобраться в себе, потому что ощущал неясное раздражение. Причину он нашёл быстро. Сломались его планы на вечер, он собирался посидеть над статьёй в военно-исторический журнал, и вдруг всё резко меняется. В его привычное уединение ворвалась какая-то хамоватая девчонка, и надо что-то делать для неё, что-то говорить, чем-то поступаться.

Значит, в нём самом начала оказывать сопротивление животная, эгоистическая природа человеческой личности, чьи интересы ограничены созданием условий для комфортного суще-

ствования физического тела. Сломать это сопротивление может только дух человека. А что дух, способный подавить в человеке всё низкое и подлое, может родиться только из православия – это Пахомыч усвоил твёрдо.

Усвоить-то усвоил, теоретически, а вот превратить теорию в реальные дела, оказывается, дело очень нелегкое. Но надо.

«Негоже так. Раз уж позвал девчонку, так помоги чем сможешь. Ей явно не додано тепла родственного, возмести хоть, сколь осилишь. Тем более она же мне кого-то напомнила. Её взгляд в магазине! Где, когда, у кого я такой видел?! Старею, память становится дырявая».

– Пахомыч, об чём задумался?

Ленка шла от ванной к кухне. Ночнушка, конечно, была великовата, но не сказать, чтобы совсем как на пугале.

Порозовевшие щёчки, взлохмаченные влажные волосы и косточки маленьких узких ступней с остаточными пятнами красного лака на ногтях.

– Ты чё ж, ногти на ногах красила?

– А так, баловалась.

– А чё тапки не одела, я ж тебе давал, и иди расчешись, на полке в коридоре расчёска.

Когда Пахомыч зашёл в комнату, Лена сидела на диване причёсанная и вертела в руках пульт от большого плоского телевизора, стоящего как раз напротив дивана, у противоположной стены на специальной тумбочке, между посудной горкой и комодом, компьютер в самом углу у окна её почему-то не привлек.

– Пахомыч, а можно я посмотрю телик?

– Ты же хотела увалиться спать.

– Да я маленько.

– Знаю я это маленько, да там и смотреть-то неча, одни развлечения, давай-давай, угомоняйся.

Возможно, что-то в его словах ей показалось подозрительным, она кинула на него какой-то странно-тревожный взгляд, поискала что-то в его глазах, но быстро отвела глаза, покорно положила пульт на подлокотник кресла за изголовьем дивана.

– Ну, хорошо, я щас.

Вышла, причём, торопливо, даже ускоряясь, словно боясь не успеть или передумать. Пахомыч подумал, что она пошла в туалет перед сном, но звука открываемой двери не услышал, зато услышал стук на кухне, потом побрякало. Он повернул голову к входящей девочке и сразу заметил прижатую к боку, чуть за спину, правую

руку, но не придавал этому значения, мало ли кто как руки прижимает. Он вспомнил, что хотел достать наволочку на подушечку, встал и шагнул к комоду.

За спиной сначала глухо стукнуло, а через секунды с треньканьем побрякало.

Обернувшийся Пахомыч увидел лежащую на ковре вилку из нержавеющей стали и нагибающуюся к ней Лену.

Он вначале ничего не понял.

– Вилка? Откуда она?

Ленка поднялась, так и не взяв кухонный прибор, смотрела глазами собаки, ожидающей удара и готовой защищаться – со страхом и злым отчаянием.

– А ты зачем меня укладываешь побыстрее в постель, чтобы приставать ко мне?!!

«Приставать? Приставать!»

Он вспомнил, потому что тогда и там, далеко-далеко, тоже было это слово, и тогда оно тоже обожгло своей обидной неправдой. Горячий пот мгновенно выступил на лбу, потёк в глаза, их защипало, и в них потемнело. Пахомыч зашарил беспорядочно вокруг себя руками, он боялся свалиться и искал опоры. Всё же удержался, шагнул куда-то и нащупал рукой гладкое дерево. А подскочившая Ленка трясла его за плечо, не думая, что так можно помочь ему только упасть.

– Пахомыч, миленький, тебе плохо? Прости меня, Пахомыч, дура я, дура конченная. Я щас водички тебе принесу, я мигом.

Старые пластмассовые шлёпанцы шуршали по ковру, как резина по асфальту.

Она принесла воду в бокале, они сидели на диване, в глазах у Пахомыча прояснялось, зато саднина вошла в сердце неотпускаемо.

– Пахомыч, ты прости меня, я не хотела тебя обидеть.

– Да ничё, ничё, ложись давай, я тоже пойду на покой.

Он сидел, наклонившись корпусом и головой, согнутые руки локтями опирались на колени, а она норовила заглянуть ему в лицо, привстала с дивана и всё наклонялась и склонялась, чуть не до самого пола, несоразмерная телу ночнушка изрядно оттопырилась, так что при желании можно было полнообъёмно видеть те фигурки, за неприкасаемость которых она была готова применить кухонное орудие.

– Ну, Пахомыч, ну прости глупую.

– Да всё, Лен, всё.



– Ты знаешь, это привычка, ко мне приставали, я вилкой отбивалась, вот и привыкла.

Ей очень хотелось искупить свою вину, и она не отставала.

– Но я же видела, што ты хороший, што ты не такой, как дядь Стёпка. Вот я дура, так дура! Я...

И тут эта девчушка выдала матерную конструкцию, и так это отвратительно звучало из уст девочки, что Егор Пахомыч вскинулся со взрёмом.

– Замолчь! Ты... – укусил себя за нижнюю губу, чтобы самому не сорваться на мат. Болью удержал в себе рвущееся. Вдохнул-выдохнул глубоко. Спокойно уже продолжил: – Вот што, милая. Если ещё хоть раз услышу от тебя подобное, я просто вышвырну тебя за порог и забуду о твоём существовании. Усекла? Она так и оставалась в низком присяде, почти на корточках.

– Угу, – покорно-покорно.

– Ну, тогда спокойной ночи.

– И тебе тоже.

Он даже не пошёл покурить, а сразу к себе в комнату, ему надо всё вспомнить и ещё раз прожить те события, потому что это должно быть с ним всегда, потому что забыть – значит предать.

\*\*\*

Восемьдесят девятый или восемьдесят восьмой год того ушедшего столетия.

Советский Союз ещё стоял утесом-великаном в болоте человеческой цивилизации. Стоял, с виду несокрушимый, и, казалось, он будет так выситься вечно. Но гнилостные миазмы через невидимые глазу поры проникали в монолит, и в нём начинались процессы разложения. В СССР к тому времени уже сложились целые группы, даже кланы людей, вкусивших плоды богатства, сложились потихоньку, незаметненько. Это были работники Внешэкономбанка, дипломаты, руководители нефтегазодобывающих предприятий, которые поставляли за рубеж наши ресурсы и которые часто бывали там в командировках, сотрудники спецслужб и, главное, высокие чины гос- и партаппарата. Их ставленник, Михаил Горбачёв, своими указами расшатывал кристаллическую решётку советской власти.

Указ о создании кооперативов дождичком пролился на подготовленную и ждущую почву – основные фонды государственных предприятий потекли в созданные при них частные ла-

вочки с вывеской кооперативов. Готовили приход её величества частной собственности. Неистребимо в человеке желание хапнуть приглянувшееся, но чужое или общее, и слетело со многих, как пыль под веником, всё благородное и бескорыстное, честное и самоотверженное, что воспитывалось десятилетиями советской власти.

Уже можно было встретить «упакованных в джинсу» упитаннорожих директоров кооперативов, разъезжающих на «девятках» и диковинных пока иномарках. Уже появились и низменные спутники больших денег – рэкет, мошенничество и даже – вообще неслыханное в Советском Союзе явление – похищение детей ради выкупа...

Государственные социальные программы втихую сворачивали.

\*\*\*

Тогда не Егор Пахомович, а просто Егор Клётов работал на углеобогатительной фабрике в монтажной бригаде. Бригада считалась прикомандированной, мужики работали здесь уже несколько лет, прижились и выполняли любые, даже чисто ремонтные и профилактические работы. Трудился в бригаде один чудаковатый мужичок, лет сорока пяти, лысоватый и бородастый, с широким бугристым лицом и шишкой на лбу, у левого виска. Звали его Илья Пеплов, работал он сварщиком, хотя окончил пединститут, факультет иностранных языков, и имел специальность переводчика с немецкого языка.

Он сам рассказывал мужикам, как умудрился переквалифицироваться, но не в управдомы, это бы ещё куда ни шло, всё же профессия тоже не очень пыльная, а прямиком в электросварщики. По его рассказу вышло так. Он трудился штатным переводчиком при генеральном директоре комбината, видно, работал неплохо, раз держали несколько лет. И вот однажды в город приехала делегация из ГДР. Илюха, значит, постоянно при ней, сопровождает, переводит. Надо же было одному чрезмерно любопытному немцу взять в руки эту злосчастную газету, будь она неладна (это он всегда повторял в рассказе).

Собственно, в газете немца заинтересовал фотоснимок, на котором многодетная счастливая семья, кажется, четырёхдетная, была избражена в собственной, наконец-то полученной двухкомнатной квартире. Любопытный немчура попросил перевести текст к фото. Илья добросовестно перевёл, и делегаты были крайне удив-

лены, им-то казалось, что все многодетные семьи в СССР имеют огромные хоромы. Кто-то доложил генеральному, Илья был вызван «на ковёр». На вопрос, есть ли у него какая-либо специальность, кроме переводчика, ответил: «Есть, сварщик». Последовал ответ: «Вот и иди работай сварщиком».

Так ли было, пусть останется на совести Ильи, он был большой выдумщик и вообще странный человек, даже в бытовых мелочах. В те годы им наряду с мылом и брезентовыми рукавицами, верхонками, выдавали и бязевые портянки. Хорошие, между прочим, были портяночки, белые-белые, просто снежно-белые и, что главное, тёплые да ноские. Так вот, Илья, вместо того чтобы укутывать свои широкие, словно лапти, и с корявыми ногтями ступни этими нежными портянками, использовал их по очереди, сначала одну, потом другую по другому назначению. По-первости он ими вытирался после умывания. Затем, по мере утраты портянками своей белизны, начинал ими заматывать шею под брезентухой вместо шарфа. И только когда обе они сравнивались по цвету с брезентовой курткой, начинал использовать по прямому назначению.

Вообще-то, этой его плюшкинской бережливости можно было найти объяснение в его социальном статусе и вытекающем из него материальном положении. Илюшка находился в разбеге со своей женой и двумя дочерьми, платил алименты и проживал в клетушке-комнатушке секции общего типа. Бывали «бригадники» у него не очень часто и обычно по пятницам, когда можно было спокойно посидеть с бутылочкой-другой вдали от жён и семейной суеты. Допьяна не напивались, сидели, обсуждали мировые и производственные дела.

И тогда они поехали к нему. С электрички зашли в винно-водочный магазин, все пятеро, потому что уже возникали перебои с алкоголем, впятером легче пробиться к прилавку, потом купили хорошей закуски, у Ильи особо не разожрёшься, и взяли пару кило крупных румяных яблок. Дело было по осени, ещё без грязи и холода, в самую золотую пору года. Дом Ильи, старая кирпичная пятиэтажка, вызывал у жителей других микрорайонов чувства опаски и брезгливости. Их было несколько таких, рядом стоящих пятиэтажек. Когда-то их воздвигли для первых строителей комбината, и тогда они были хорошими домами. В силу разных причин за последние годы в них стали оседать люди не-

успешные в жизни, опускающиеся постепенно на самый низший этаж социальной лестницы. Дом давным-давно не видел ремонта, даже снаружи выглядел неприятно, весь в трещинах, закопчен, замызган.

Они вёселей гурьбой поднялись по темноватой изщербленной выбоинами лестнице на второй этаж. Комната Ильи – первая от входа слева, за ней по этой же стороне до самого торца ещё было три двери, направо – дальше комнаты Ильи – туалет, за ним – проём в общую кухню, ещё дальше, глухая стена.

У Ильи была всего одна табуретка, поэтому узкий столик придвинули к кровати.

Извлекали закуску, Илья достал из ящика этажерки гранёные стаканы: «Егор, будь другом, сходи ополосни».

В комнатах этих домов вода отсутствует, и холодная, и горячая, она только на кухне.

Егор составил стаканы в высокую стопку и уже собрался пойти, а Илья протянул ему пакет с яблоками: «Заодно и яблоки помой».

Он шёл, прижав к телу шаткую конструкцию из стаканов одной рукой, а в другой нёс пакет.

Кухня, весьма приличная размерами, куда больше Илюхиной конурки, тёмная от мутного оконного стекла, крашенных в несветлый цвет на метровую высоту панелей и вечернего сумеречья за окном. И пустая, лишь в левом от входа углу у края подоконника стоял стул, а на нём уместилась то ли девчужка, то ли девушка, Егор толком не разглядел. Раковина – справа от входа, тоже в углу, он опустил пакет на пол, а стаканы разложил в раковине, испятнанной оббивками эмали. Вода шла только холодная, он по очереди ополаскивал стаканы и ставил их на широкий и длинный, до самой стены, стол.

– Ты свет-то включи, темно же.

Он сначала не понял, что это ему говорят.

– Свет-то, говорю, включи, побьёшь стаканы, – ударение было поставлено на «ы».

– А где выключатель?

– Вон у входа.

Свет яркой нагой лампы у высокого потолка взорвал сумрачную затемь неустроенного помещения, беспощадно-обличающе высветил неухоженность коммунальной кухни, её грязные панели с ссадинами отвалившейся вместе со штукатуркой краски, густую сеть паутины в углах, избитый обувью вдрызг пол.

Но он же осветил неясную до этого фигуру сидящей, и она вдруг предстала красивой, со-

всем молоденькой девушкой. Солнечным блеском запереливались светло-рыжие короткие волосы, рассыпушки смешинок-конопушек весело зашевелились по щекам, когда она сморщила носик и прищурила глаза от внезапно вспыхнувшего света.

И совершенно неважно, что подол её ветхого платья в двух местах не зашит и даже не заштопан, а просто грубо стянут нитками, примерно так, как Илюха стягивает проволокой свою брезентуху, когда раздерёт её обо что-то острое или прожжёт.

И не имело никакого значения, что она сидела на стуле босая, что ступни девичьих стройненьких ножек касались затоптанного, в засохших харчках, пола.

Егор оторопело застыл на короткое время, а потом не нашёл ничего лучше вопроса:

– Чё ты тут сидишь в одиночестве?

– Так просто.

В желтовато-зелёных глазах любопытство заметно боролось с настороженностью.

– А ты у Ильи в гостях?

– Да, заскочили после работы посидеть малость, поболтать.

– И пить будете?

Ему отчего-то стало неудобно.

– Чуть-чуть совсем, мы ж не алкаши.

– А я тебя видела как-то, вы тоже тогда были у Ильи.

– Да, а я тебя не помню.

– Тебя как звать?

– Меня Егор.

– А я Юлька.

– Почему Юлька, а не Юля?

– Да все так зовут.

Тут Егор кстати вспомнил о пакете, стоящем на полу.

– Юля, хочешь яблоко?

И отчётливо увидел победу недоверия над любопытством в её глазах.

– Да не, сами ешьте.

Он понял, она яблоко очень хочет, но боится взять, боится каких-то последствий, значит, надо её упрямить взять угощение.

– Нельзя отказываться, когда от чистого сердца предлагают. Щас я помою, щас.

Оказывается, он во время разговора незаметно приблизился к ней, и ему пришлось возвращаться обратно. Схватил пакет, выдернул из него два яблока и стал торопливо обмывать их струей холодной до ломоты в пальцах воды.

– Егорка, ты где потерялся, мужики заждались. Илюха стал в проёме, не входя на кухню.

– А, Илья, возьми стаканы, я чуть позже приду, начинайте без меня. Илья вошёл, он уже в домашнем трико и клетчатой рубашке с закатанными до локтей рукавами.

Стаканы он взял в две руки, улыбка у него на буграстом лице была лукаво-ядовитая.

– Ну-ну, давай, только сильно не задерживайся.

Стихали, отдаваясь, его грузные шаги, несколько мгновений был слышен мужской гомон, дверь в комнату закрылась, вернулась тишина, нарушаемая только шелестящим звуком водяной струи. Егор подал ей яблоко мокрой рукой.

– Возьми, Юля, я угощаю.

Она протянула свою, сложенную лодочкой, хотя слово «протянула» в данном случае неуместно – это было не движение верхней конечности за чем-то, это был акт подачи царственной длани для вложения в неё сокровища. Было со всей очевидностью понятно, что она делает это естественно, просто это ей свойственно от природы.

И красота её очаровывает, узкое лицо мягких очертаний, ровный прямой носик, небольшой рот с гранатовой сочностью юных губ – ничего по отдельности исключительно красивого нет, а вот в совокупности, особенно с добавлением щедро насыпанной на щёки, как из горсти, доброй меры светло-коричневых конопатинок даёт совсем другую картину. Тем более эта картина глядит загадочными кошачьими глазами.

Но, самое поразительное, от всего её облика исходит невидимое глазом, но осязаемое сияние, достигающее сердца и согревающее его. Егор осторожно, даже благоговейно, положил одно яблоко в ладонь.

– Спасибо.

И буквально следом без видимой связи.

– А ты почему хромаешь?

Егор пока не мог найти правильную линию разговора с ней, он в раздвоении – это мешало.

В нём будто две волны сшиблись и от этой сшибки поднялась завеса брызг, а волны разбились на мелкие волнишки, которые бестолково вспучивались, шипя и пенясь.

Как большинство здоровых мужиков его возраста, то есть, как говорится, в самом соку, он ценил женскую и, тем более, девичью красоту и был непрочь пофлиртовать, только пофлиртовать. Это была одна волна, физиологическая. Но встречь



сразу вставала другая – воспитание, вбитые в мозг с самого пелёночного возраста принципы, по которым взрослому мужику запрещалось даже взглянуть на молоденькую девушку как на возможный предмет вожделения. И эта волна была всё же покруче, она снова сливалась воедино и одолевала противостоящую, подминала. А всё оттого, что её неожиданно начала подпирать ещё одна – то самое сияние, невидимое, но весомо ощутимое, оно не позволит сердцу сбиться на животные страсти. Вопрос застиг его в процессе борьбы волн, пришлось для сосредоточения переспросить.

– Почему? Как тебе сказать. В молодости по глупости случилось.

– А вы с Ильёй все вместе работаете?

– Ну да, ты яблоко-то ешь.

Молодые зубы отхватывали от плода немалые куски и быстро перемалывали их, управилась она с яблоком споро. Егор стоял рядом, опершись боком о подоконник, второе яблоко держал в руке.

– На и второе, – сказал, когда она проглотила последний кусок.

– Я потом его съем, ладно?

– Как хочешь. А ты здесь живёшь?

– Да, в третьей квартире.

Она сказала «в квартире», хотя все жильцы этого дома проживали в секциях.

– А почему всё же сидишь здесь?

Он спросил просто для поддержания разговора, поэтому ответ и прозвучал для него потрясением.

– Мать выгнала, к ней Кузя припёрся, и они там... – дальше вылетело слово, пришедшее к нам из тьмы веков, употребляемое ещё в берестяных грамотах Великого Новгорода и которым доньше грубые люди называют физическую близость мужчины с женщиной.

Но самое невыносимое то, что она произнесла его буднично и нестеснительно, будто оно являлось для неё нормальным, да, наверное, так оно и есть.

Егора это слово из губ Юли покорило так, что он быстро повернулся к окну, угнул голову вниз, захватил свою нижнюю безвинную губу зубами и яростно мотал шеей из стороны в сторону. Ей непонятна его реакция:

– Ты че, Егор?

– Зачем ты так, Юля?

Она совсем была в недоумении, когда он повернулся к ней, её глаза округлились.

– Ты о чём?

– Нельзя молодым девушкам такие слова говорить, это оскорбляет душу.

– Да?! А они меня не оскорбляют?! Сами пьют и жрут, а меня на кухню выгнали?

Последняя фраза прозвучала как жалоба голодного маленького человечка.

– Он колбасу принёс, ещё чё-то вкусное.

Догадка оформлялась в мысль, на ходу успел бросить ей: «Подожди, Юль, я мигом».

Подпитанная горячительным компания попарно и очень оживлённо беседовала, на столе уже обычный бардак мужского застолья.

– О, Егор, ты где застрял?

– Егорка, сам наливай себе.

– Он Юльку кадрит, – это Илюха слюнявыми губами.

Бригадир Колян, мощный, даже, можно сказать, кабанеющий от богатых домашних, в кастрюльке носимых обедов, укорил солидным голосом: «Егор, негоже товарищей менять на бабу». А потом, увидев, как Егор отрезал изрядный круг колбасы и сгрёб в ладонь несколько кусочков хлеба, добавил уже другим, игривым голосом: «Ты че, её за жратву укатываешь?».

Егор полоснул бригадира таким режущим высверком зрачков, тот аж поёжился.

– Колян, тебе не идёт быть пошляком.

Юля сидела, поставив локоть на подоконник, а щёку на кулачок и смотрела в совсем потемневшее заоконье.

– На, Юля, поешь.

Голова повернулась, не оторвавшись от кулачка.

– Зачем, я же не просила?

– Просто мне нравится угощать тебя.

– Просто-просто?

В зрачках – яркие точки, не похожие на отражение лампочки.

– А што, угощают с какой-то выгодой?

– Всяко бывает.

Егору впору покраснеть, физиология-то иногда прорывалась, когда взгляд нечаянно притормаживал на островерхих выступах под платьем или на мягко-округлых неприкрытых коленках, на всём бурно прущем женском в Юле. В попытке скрыть своё смущение он сказал довольно грубовато.

– Да на, бери, а то выкину в форточку.

Она взяла колбасу и хлеб, а он достал сигареты, закурил.

Она ела, а он стоял лицом к стеклу и курил.

– Спасибо.

– На здоровье.

По логике, ему нужно было заканчивать разговор и уходить. Но какая, к чёрту, логика, если сидящий рядом человек нуждается в поддержке, он одинок, он бесприютен в этом безжалостном мире секционного дома. Здесь её внутренний свет, одухотворяющий тварную природу человека, зальют отходами жизнедеятельности, заплюют и захаркают.

Что ждёт дальше Юлю, если мать, для которой плод её чрева должен быть дороже собственной жизни, выгоняет девочку на кухню, где частенько бродяги устраивают оргии, выгоняет ради скотского соития, а дочь это знает и понимает, что для матери она обуза, которую приходится терпеть? Что вырастет из такой дочери?

А что может сделать он, Егор, посторонний человек? Полюбоваться её красотой, угостить яблоками и колбасой, поохать-поахать над её бедами? Можно полюбоваться, даже повосторгаться, как восторгается неравнодушный к красоте человек, увидев вдруг посреди зловонной помойки одиноко вознесшуюся ромашку. Он будет стоять и любоваться едва приметно трепещущим зелёным стебельком и дивными ослепительно-белыми лепестками, восторг же его будет возрастать от того, что это чудо выросло рядом со ржавой консервной банкой и прямо из рыбьих кишок и хвостов, словно попирая своей красотой мерзость человеческого бытия и утверждая божественную красоту мироздания.

Однако нормальный человек не станет срывать цветок, понимая, что дома в вазе с водой цветок быстро завянет, цветы в вазе не цветут, и остаётся только любоваться им здесь, на помойке, отводя глаза от ржавой банки и рыбьих потрохов.

Но это цветок, а человека-то можно переместить в другое место, где он вполне приживётся и расцветёт куда красивее, чем в этих трущобах. Легко подумать, а сделать практически невозможно. Но хоть что-то надо попытаться предпринять!

Он так и стоял, облокотившись о подоконник, смотрел в тёмное стекло, она так же сидела на стуле, оба молчали.

Внезапно донеслись громкие мужские голоса и так же внезапно стихли, шаги по коридору. Егор рывком отёрнул с кисти рукав шерстяного пуловера, поворачивая руку к свету, оказывается, больше часа прошло с момента его прихода на кухню. И он заторопился, боясь чьего-нибудь вмешательства.

– Юля, мне скоро, наверно, придётся уйти, но я хотел бы ещё с тобой увидеться, ты не возражаешь?

Шаги кухни не достигли, открылась дверь в туалет. Поднятое лицо выражало озадаченность, на юных лицах, ещё не научившихся управлять лицевыми мышцами для маскировки чувств, они читаются легко, как крупный текст в книге.

– А зачем?

Зачем? Разве возможно коротко и понятно объяснить человеку, почему хочется его видеть, общаться с ним?

Да всегда ли и сам желающий может полностью понять причину своего душевного влечения?

Как не сможет человек объяснить себе, почему он вдруг в лесу или в поле замирает перед каким-нибудь деревцем или открывшимся видом, немеет от восхищения.

Да ему и не нужны никакие объяснения, просто это деревце или этот вид соответствуют его пониманию прекрасного, и он стоит и наслаждается увиденным. Не объяснишь.

– Ну, пообщаемся, хочешь, в кино сходим?

– В кино можно, только у меня денег нету.

У Егора потащило губы в улыбку.

– Глупая ты, я же приглашаю, а у меня деньги есть.

И тут вдруг он, не додумав даже мысль до конца, а поддавшись мгновенному желанию хоть чем-то её порадовать, полез в карман брюк, достал пачечку из нескольких сложенных пополам десяток, отделил одну и протянул Юле.

– На, Юля, купишь себе што-нибудь вкусное.

Обомлелость тоже читалась отчётливо.

– Мне?! Столько?!

Больше рубля она в руках не держала, это точно.

– Тебе, тебе. Бери.

Рука несмело и не быстро поднялась с колен, потянулась, замерла и упала обратно.

– Нет, не возьму.

– Да почему? Я ж дарю тебе.

В интонациях прозвучавшей ответной фразы, кроме констатации неизбежных последствий, ещё многое вместились: и горечь от человеческой подлости, и сожаление о невозможности получить такие деньги, и тихая печаль, да и ещё нечто, не переводимое с языка чувств на язык слов.

– Ты же потом за эти деньги начнёшь приставать ко мне, все вы такие.

Уж лучше бы в лицо плюнула, чем в душу. Егор сдержался, правда, потом зубы заныли, так крепко их стиснул.

В его ответе одна печаль.

– Не считай всех людей мерзавцами, жить будет невыносимо.

Сложенная пополам бумажка так и высовывалась из пальцев его полувытянутой руки. Егор немного приклонился к ней и выпустил банкноту из пальцев, она встала торчмя в складке платья.

– Всё равно мы больше не увидимся, пусть это будет подарок на память обо мне.

От неудобного стояния затекла нога, в юности попавшая в переделку, отходил с заметной прихрамкой.

– Егор, не уходи.

Куда девалась скованность ноги – на одном месте крутанулся в противоположную сторону.

Виноватость сдобрилась лукавством, и получилось совершенно изумительное очарование девичьего лица.

Десятка лежала в её ладони, а грубоватые слова прятали другое, трогательное, но стыдли- вость мешала открыто показывать.

– Чё надулся, я ж тебя почти не знаю. Приходи завтра, сходим в кино, а морожено возьмёшь?

– Да хоть два.

– Это хто там кому морожено собрался 100 брать?

Дверной проём заполнен тяжёлой женщиной с зачёсанными за уши волосами цвета обожжённой меди и увенчанными по затылку недовоткнутым гребнем, в застиранном почти до бесцветности сарафане. Её полные руки были водружены на косяки на уровне головы, отчего пологие, но ещё высокие холмы груди так реально выделились изо всей фигуры, будто их целенаправленно выделяли, как и белые коленки. Женщина была бы красива, даже при густо-густо, чуть не в сплошной засев, утыканными конопушками щеками, с просыпью на шею, да она и красива, вот только весьма заметные следы пьянства красоту её в мужских глазах сильно роняют. Они находились в растерянности от внезапного вмешательства, а стоящая в проёме продолжила низким голосом, столь частым у пьющих, огрубевших женщин причём, продолжила с потугами на иронию.

– Да я гляжу, у Юльки хахаль объявился. Не рановато ли ссыкухам со взрослыми мужиками по кинам шляться?

Егор никак не мог выйти из замешательства, потому что фактически Юлина мать была

права. Она пошла к ним, руки теперь уперла в бока, собираясь распалиться до праведного гнева.

Но тут она тренированным взором охотницы за халявными деньгами уцепила немалую достоинством купюру в руке Юли, желание воспы- лать гневом быстренько улетучилось, голос попытался подняться до высоких нот.

– Чё я вижу, целая десятка! Зачем же на морожено целую десятку? Давай её мне, доча.

Юля отошла от растерянности, этому, ве- роятнее всего, поспособствовала перспектива лишиться подарка. Она хрустко смяла бумажку в левом кулаке, а правая с трёхпальцевой фигурой на конце смело вытянулась в сторону матери.

– На вот, выкуси, мне Егор подарил.

– Ах, Егор, это ты, што ли, Егор?

Руки, до этого было опустившиеся, опять поплыли к бокам, видно, любила женщина эту позу. Но её провоцирующее скандал поведение выветрило из Егора растерянность, и он не любил, когда ему дышали в лицо смесью запахов водки и лука, а она дышала, подойдя совсем близко.

– Ну я, и што?

– А то, што деньги суешь малолеткам – это как назвать?! Повалять её захотел, да?! Купить за десятку?!

Высокий звон крика ударил по ушам.

– Заглохни ты, сука пьяная!!!

Юля стояла, кулачки согнутых рук прижаты к подбородку. Крик привёл в чувство Егора, уже набухающего гневом, но отнюдь не её мать, за- каленную в скандалах секционной жизни.

– Я те заглохну, я так заглохну, – и тоже за- орала, но на других, низкогудящих частотах.

– Ку-у-зя-я-я! Щас Кузя выйдет, он разбёрет- ся, – и снова загудела: – Ку-у-зя-я-я.

Кузя оказался отзывчив и буквально следом нарисовался в том же проёме. Мужик лет сорока с довеском, ростом не мал, пожалуй, лишь чуть пониже Егора, а Егор имел метр восемьдесят пять, но шире, правда, не в плечах, а в талии, особо в передней её части, об этом радостно возвещала синяя с тёмными потёками майка, ту- го обтянувшая шар пуза, она не была заправле- на в чёрные трусы.

Кузя впечатлял массой тела, небритостью рожи и большими залысынами на тёмно-русой всклокоченной голове. Но он был явно не боец, ибо масса его давно и необратимо одрябла,

мышцы полных рук по-бабски обвисли, полногубый рот ещё что-то дожёвывал.

Он и спросил весьма благодушно:

– Ну и чё тут у вас за пожар?

– Да вот тут какой-то Егор на Юльку глаз положил.

– Так мы ему глаз этот вышибем, чтоб не ложил, куда не надо, – и зареготал утробно над собственной остротой.

Егор в это время ещё раз оценивал противника. «Сидел, но недолго, скорее всего по «бытовухе» или «хулиганке», в лагере был не на высоте, перстни-то вон как попало наколоты, так, полуцвет, зато на свободе гонор раздулся, будто червонец отмотал за мокруху, любит помыкать слабыми, но перед сильными встанет и в рачью позу». Таких ой как много знал Егор в иные времена и умел с ними вести себя соответственно.

Кузя нареготался всласть и всё так же благодушно посоветовал Егору.

– Земеля, ты в натуре дёргай отсюда, пока я добрый и ничё тебе не вышиб.

Ну что ж, пора.

Егор сделал три чётко впечатанных в доску шага, даже не прихромнул, шаги были с громким стуком каблуков, такие акцентированные шаги пугают слабоватых духом людей, очень близко подошёл к Кузе, а у того жирные от пищи пальцы уже нервно то ли пытались вытереть жир об майку на животе, то ли просто не находили себе другого места.

Дальше началось само действие. Егор оттолкнул скользкие пальцы, не сразу, но ухватил натянутую майку за подол и закрутил её в кулаке, сдавливая пузо, а второй кулак, ударный, предстал пред забегавшими глазами Кузи.

Очень хотелось Егору сказать этому любителю водки с колбасой на изысканейшем лагерном жаргоне отборные «комплименты», но он помнил, что сзади сидела на стуле Юля, сидела с прижатыми к щекам ладошками, она боялась за него, он это чувствовал и не мог себе позволить слишком грязных слов. Поэтому он и сказал негромко, приблизив лицо к лицу Кузи.

– Кузя, тебя в зоне раком не загибали?

Безвольные губы прошептали:

– Не-е-а.

– Так не выпрашивай, чтоб я загнул тебя. Иди лучше доедай колбасу, – напослед всё же не сдержался в голосе и добавил громче, отталкивая мужика в раскрученную из руки майку: – Пшёл вон, шестерня.

Кузя мелко перешагнул назад от толчка и повернулся в коридоре, собираясь удалиться с остатками достоинства, Егор тоном приказа добавил:

– Подругу свою забирай.

Кузя отозвался из коридора, уже невидимый:

– Зинка, пошли, он же чокнутый.

Пасссия его прошествовала мимо, как ни странно, игривой походкой и смотрела на Егора восхищённо, даже, показалось, с неким, не совсем скрытым призывом.

Она уже водила-виляла мощным, как круп лошади, задом на выходе, когда Егор вспомнил, что ещё забыл сказать:

– Да, и не вздумайте отбирать у Юли деньги, я завтра приду и проверю.

В ответ хлопнула за углом дверь.

Егору хотелось как можно скорее перебить чем-то впечатления от не очень красивой сцены.

– Юля, пойдём, проводишь меня.

– Ты уже уходишь?

– Да, здесь душно.

Он имел в виду не физическую духоту, но не стал ей объяснять.

– Ну пошли.

А в голосе явное нежелание его ухода, что и подтвердили дальнейшие слова.

– А может, посидим ещё? Этого аспида ты прогнал, никто не помешает больше.

Пережитое волнение ей требовалось излить в слова.

– Ой, Егор, я думала сначала, што он тебя побьёт, даже думала бежать к Илье за твоими друзьями. Он тут всех колошматит, козёл.

Егор поморщился.

– Юль, ну перестань ты такие слова говорить, некрасиво это.

Юля подскочила со стула.

– Да? А один умный человек сказал, што надо судить не по словам, а по делам. А ты знаешь, што этот козлина делает?

– Откуда же мне знать?

– Он подглядывает за мной, когда я в туалет захожу. У нас в туалете дырка в двери, так он подкрадывается тихонько и зырит, я дырку газеткой затыкаю, а он её пальцем выталкивает и опять зырит. Надо было тебе дать ему хорошенько, чтоб не подглядывал.

– Да, за такие дела стоит дать.

– Ну вот, а ты говоришь «некрасиво».

Егор в это время подумал, что Юля по возрасту годится ему в дочери.

– Юль, тебе сколько лет?  
 – Пятнадцать, ну почти пятнадцать, а тебе?  
 – Мне чуть побольше, – улыбнулся вбок, – в женихи тебе не гожусь.  
 – Я об женихах ещё не думаю.  
 – А откуда у тебя такие слова – аспид?  
 – Это бабка моя так говорит.  
 Они шли по коридору, и оба не вспомнили, что Юля босая.  
 – Ты к Илье заходить не будешь?  
 – Нет, там и без меня весело.  
 Шли как раз мимо комнаты Ильи, из-за двери довольно слышимо доносились две разные песни, исполняемые одновременно.  
 – Ишь, как разошлись.  
 На лестничной площадке было сумеречно, как в вечернем лесу, но он почему-то опустил глаза.  
 – Юля, ты ж босиком, иди-ка домой.  
 – Нет уж, провожу тебя вниз, нехолодно.  
 – Я не хочу, чтоб ты пачкала свои ножки в подъездной грязи.  
 Смеялась она длинной тонкозвучной трелью:  
 – Ножки!  
 – Ну што тут смешного? У тебя действительно прекрасные ножки, и им бы достойно быть в хрустальных туфельках, а не стыть босыми на грязном бетонном полу.  
 В полусвете было не видно выражения её глаз.  
 – Егор, я таких слов никогда не слышала. Ты не такой, как эти, – головка качнулась в сторону двери.  
 Она неожиданно взяла его левую руку и положила в свою ладошку, накрыв второй.  
 – С тобой хорошо, спокойно-спокойно.  
 Егор замер, боясь порушить родившееся единение человеческих душ.  
 – Давай я пойду обуюсь и провожу тебя ещё.

– Нет, Юль, не надо, темно уже тебе обратно идти.  
 – А ты точно завтра придёшь? Может, пошутит?  
 – Раз сказал, значит, приду. В шесть как штык буду. Жди в шесть.  
 Он видел, как она ступню одной ноги ставила боком на другую. Но всё равно ему стоило громадных усилий расстаться с ней, будто приходилось выдирать вросшее в себя настолько, что сопровождалось болью и физической, в сердце, и душевной.  
 – Иди, Юлечка, ноги застудишь.  
 Она тоже не хотела расставаться и руку его не отдавала.  
 – Да не, постою.  
 – Нет, Юля, всё, иди, до свидания.  
 Руку вытягивал из её мягких тёплых ладоней осторожно, а они не отпускали, тянулись за ней. Но она смирилась.  
 – Ну ладно. Только не обмани, Егор, приходи завтра. Я очень буду тебя ждать.  
 – Приду, обязательно приду, иди.  
 Он посмотрел, как она открыла дверь, обернулась в двери, улыбку даже в неясном свете угадал по взблеску зубов, помахала кончиками пальцев. И отгородила дверь секционки её от его жизни.

102

\* \* \*

Недолга была дорога до автобуса, а передумать можно многое. «Вот зацепила же меня девчонка. Вроде своя дочка есть. Но своя-то рядом, под присмотром хорошим, и ничего с ней худого не случится, не стоит своя босиком на бетоне. А што я конкретно могу сделать? Деньги давать на питание? Забрать её к себе и воспитывать как свою дочь? Да кто ж мне её отдаст? Ладно, завтра встретимся, поговорим, может, чё и придумается».

